

Давид Яковлевич Айзман

Их жизнь, их смерть

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Д13

Д13 **Давид Яковлевич Айзман**
Их жизнь, их смерть / Давид Яковлевич Айзман – М.: Книга по Требованию, 2012. – 44 с.

ISBN 978-5-4241-2880-6

Айзман Давид Яковлевич (1869-1922) - русско-еврейский беллетрист. Внимание Айзмана привлекала прежде всего еврейская среда; его повести и рассказы: "Ледоход", "Кровавый разлив", "Враги" и другие - беллетристическая интерпретация "еврейского вопроса" (бесправное положение евреев в царской России, их взаимоотношения с окружающим населением и т. д.), выдержанная в обычном либерально-народническом духе. Оставаясь в общем верным старой реалистической манере письма, Айзман по ряду внешних признаков примыкает к группе писателей (самым ярким ее представителем является С. Юшкевич), которая разрабатывала условный "русско-еврейский" стиль, стремясь оттенить строй еврейской речи.

ISBN 978-5-4241-2880-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Давид Яковлевич Айзман
Их жизнь, их смерть

I

Через два месяца после своей свадьбы Эрнестина родила. Муж ее, Жюль, был в поле, пахал. Когда стало смеркаться, он выпряг лошадей и вывел к дороге. Лошади были: Маркиза — большая кобыла, серая, в яблоках, и Гарсонэ тощий и мелкорослый белый конек, с сильно загаженными задними ногами и с хронической язвой на шее. На Маркизу Жюль сел, как на диван, свесив обе ноги на левый бок, и поехал домой.

Четвертый уже день Жюль не пьян. Вчера очень мало выпил, сегодня утром хлебнул стакана три, да с собой в поле прихватил литра полтора. Только и всего. А теперь шестой час. Пора двигаться. Надо поскорей добраться до деревни, насыпать коням овса, да и самому пожевать. Старый Виар привез новое вино, говорит, по случаю приобрел особенно хорошее, — надо попробовать.

— Вперед, Маркиза! чего икаешь?..

Позади мостка, немножко дальше мери, на крыльце мясной, стоит свояченица Жюля, мясничка Мари. На свою сестру Эрнестину, жену Жюля, она совсем не похожа. Она толстомаяся, с двойным, белым подбородком, очень опрятная, расфранченная, и прическа у нее пышная, с гребешками. Стоит она здесь и высматривает, не возвращается ли с вокзала Монсель, агент по продаже сельскохозяйственных машин, ее любовник. Что то не видать его! А уж поздно, последний поезд. Темнеет. Моросит дождь. Пастух Христиан гонит с поля овец. Из ворот выбегают бабы забирать своих. Под большим зонтом, громко крича и стуча деревянными башмаками, гонится за убегающей черной овцой тонконогая девочка в черном. На станции, с наугой и хрипло, точно он изрядно выпил, свистит паровоз, и ложатся на мокрую, темнеющую дорогу желтые полосы от зажженных фонарей.

— Э, Жюль! — кричит мясничка Мари: — ты еще не знаешь?..

Свояченицы своей Жюль не долюбивал. Разные счета были и дрязги. Она думает, что если она богата, то ему на нее наплевать нельзя. Пузо у нее большое. Ну и пусть ее любовник радуется... Не пашет, не косит, не молотит, в лес хворост в снопы связывать не ездит, сидит в мясной за выручкой, вот и вся работа. Если бы Жюлю за выручкой сидеть, у него пузо еще не так бы вздуло. Дрянь баба. Мужу рога ставит, каких не имеют и его быки, да его же еще и лупит. С такой стервой разговаривать?.. Вперед, Маркиза!

— Жюль! — опять кричит Мари: — тебе уже говорили?.. Эрнестина родила.

— Эрнестина?.. Какая?..

— Как «какая»? Чурбан ты. Да твоя же Эрнестина, жена твоя.

— Моя Эрнестина?.. Стоп, Маркиза. Стоп!

Жюль медленно соскользнул с хребта кобылы и лицом обернулся к мясничке.

— Родила?!.. Уже?..

Мари рада была поязвить зятя. И оттого, громко расхохотавшись, она на всю улицу крикнула:

— А зачем ей откладывать? И то долго уже... По моему расчету, ей бы как раз в день венчания родить следовало.

Жюль стоял, широко расставив крепкие ноги, смотрел в землю и соображал.

— Родила... Вот оно... А?.. Родила?.. Вот, стало быть, уже и родила.

Маркиза много работала сегодня, сильно устала и проголодалась. Роды хо-

зяйки и разговоры о них ее не интересовали, и она спокойным шагом направилась домой. Сделав два-три политических движения хвостом и робко оглядываясь на Жюль, последовал за подругой и малодушный Гарсонэ.

... "Вот так, — думал Жюль. — Родила?.. А?.. Значит, родила... Взяла, значит, и это самое... и родила"...

Теперь, стало быть, будет возня?

Да, теперь будет.

Возня будет здоровая.

Жюль не любил осложнений, не любил забот, не любил думать, и терпеть не мог разговоров. Иной раз оно бы и ничего, поговорить и занятно, да кто его знает, морока ведь... Например, чем кроликов поить, чтобы обильнее плодились; или отчего у лошади копыто потрескалось, — об этом бы поговорить ничего, можно. И о том, что вот, пошел ливень и косить помешал, тоже можно бы: — но нужны слова, — все разные слова... Бог с ними совсем!.. Вот когда за сохой, или, скажем, когда домой едешь, — и ни о чем хлопотать тебе не надо... Мысли спокойные. "Вот лес на горе, а под горой красные крыши... Колокольня высокая... Серая она, колокольня эта самая... всегда она серая... От дождей какое озеро на лугу сделалось!.. Во дворе у мэра бугай мычит... Бугай ничего, здоровый бугай, бугай как следует... У старого Виара вино по случаю куплено. Говорит, хорошее очень вино... Надо отведать... Вот лес на горе, а под горой красные крыши"...

Спокойно и не трудно.

Но подлая Мари, — вот она! — явилась, и сейчас и то, и се... новости разные... "Родила Эрнестина"... И чего ей надо, туше проклятой!..

Маркиза и Гарсонэ поджидали хозяина у ворот конюшни. Лошади были мокры, и от боков их кверху подымался белый пар. Конюшней служило продолжение квартиры Жюля, и сообщалась она с нею дверью. Дом был каменный, двухэтажный и крыт был тоже камнем — почерневшими от времени плитами, которые местами обросли плотным ярко-зеленым мхом. В доме была дверь на улицу и одно окно. Верхний этаж был недостроен, и там хранился овес, пучки хвороста и сено. Перед домом, у самого входа, лежала огромная и высокая, аршина в два, плоская, прямо обрезанная куча навоза. Из нее вытекал и вился мимо двери коричневый ручеек, похожий на жидкий деготь. Навоз лежал давно, перепрел, перегнил, и оттого запах из ручейка шел такой удушливый, что у человека непривычного являлась тошнота, и приходило в голову, что лежит по близости сильно разложившаяся падаль.

— Стоп, Маркиза, стоп!

Жюль пролез под шеей кобылы, открыл ворота, и лошади вошли. Жюль привязал их, насыпал овса. В углу, за перегородкой, жила свинья, которую откармливали к Рождеству. Свинья была хорошая, молодая, и росла и жирела чудесно. Но что то сделалось у ней на груди, меж передними ногами, лишай какой то. Это надо осмотреть. Свинья, однако, не давалась. Она угрюмо захрюкала и отошла в угол. Жюль придавил ее коленом к стене и обеими руками обхватил рыло. Ничего, лишай залечивается.

— Ты свинка хорошая, — сказал Жюль и дружелюбно потрепал свинью за соски. — Жиреешь, как следует... Зад у тебя — прямо как у мяснички Мари, хороший зад...

Нужно было еще к кроликам пойти, подстилку переменить, но Жюль подумал,

что это и потом можно. Родила Эрнестина, — надо посмотреть. Если уж родила, — надо.

Жюль вошел в дом, у дверей сбросил с ног деревянные башмаки и остановился.

— Эрнестина, ты родила?

Прямо против двери был огромный очаг. Огонь в нем разводили на полу, на железном листе. Несколько длинных жердей, перетянувшись поперек комнаты, едва тлели. Над огоньком, на толстой цепи, висел большой, обросший сажей котел. Перед очагом стоял стол с клеенкой, а над ним, в густом сумраке, смутно белели свесившиеся с потолка большие толстые плиты. Это сало. В октябре, на св. Мартэна, закалывали свинью, сало солили и вешали на крючках. Так оно и висит посреди комнаты месяцами, грязное, запыленное, засиженное мухами, и каждый день от него отрезают сколько надо для супа...

У стены кровать, высокая и широкая. Над ней деревянный карниз, и к нему прикреплены занавески. Когда ложатся спать, занавески задергивают и спят точно в шкафу. Теперь занавески отведены в сторону, и за ними, на красной подушке, чернеет чья-то всклокоченная, густая шевелюра. Подле кровати, на табурете, стоит высокий светильник, медный, без стекла. Коптит он много, а освещает чуть-чуть. Но и при скудном освещении видно, что беспорядок в комнате поразительный.

— Вишь-ты... родила! — говорит Жюль.

Широкое в скулах и узкое к низу, усатое лицо его приняло лукавое, многозначительное выражение. Смекалка у человека водится! И баба, — хоть она, стерва, хитрая, — а мужа ей не проведсти.

Маленькие, голубые глаза Жюля весело искрятся...

— Значит, вот оно как, вовсе родила! — опять говорит он.

Косматая голова на красной подушке зашевелилась.

— А ты что же думал, кляча?

Что он думал!.. Вот сука! Что он думал!.. Многое думал. На то голова, чтобы думать. Такой это инструмент, чтобы думать... А вот орать зачем? Родила — и еще орет.

— Ты не ори... Ты что же это?.. Ты почему родила?

— А ты не знал, что от этого рожают?

Вот тебе раз!.. Это штука!.. Это ей Богу штука!.. Это она правильно... Против этого не поспоришь... Рожают. Верно. От этого все рожают... Но только... все же... погоди-ка! Как же так?

— Как же это так... Ты родила?

— А кто ж будет рожать? Ты, что-ли?

Голос Эрнестины злой, гневный. Жюль морщится, дует из носа в толстые усы и отступает.

— Я?.. Я не буду... Зачем?.. Вот выдумает чего...

И минутку потоптавшись у дверей, Жюль опять приближается к кровати.

— Ну родила... А отчего ж скоро так родила?

Эрнестина злобно вспыхнув, приподнимается.

— Смеешь спрашивать?.. Кляча ты, падаль!

Светильник и мигающие огоньки очага тускло освещают худое, длинное лицо, над которым черной копной стоят густые, свалывшиеся волосы. Тонкие

губы женщины крепко стиснуты, глаза сверкают злобой, и на длинной сухой шее напрягаются толстые жилы.

— Спрашиваешь, дьявол пьяный!.. А это что такое? А вот это что?.. А это вот кто сделал?

Эрнестина тычет пальцем в огромный синяк у левого глаза, в разбитую нижнюю губу. Она проворно высовывает из под одеяла обнаженную до паха ногу. Нога тонкая, костлявая, очень белая. Колено же сильно вспухло, и цвет его багрово-черный.

— Меньше б истязал и не вышиб бы ребенка, тварь подлая! Девять месяцев носила бы, как все люди. А теперь вот семимесячный, и он жить не будет.

Разве с женщиной столкнешься?.. Девять месяцев, семь месяцев, — она тебе всегда сосчитает. И еще орет! Как же ее не ударить? За дело, ведь, бьешь, — разве зря?.. Кто зря бьет? это вот она, скелет безмясый, — осью, ступкой, шкурой бычьей, распятием, — чем попало... И без надобности. А мужчина — всегда когда надо... "Вышиб ребенка"! Разве ребенка можно вышибить! Ребенок внутри у матери прирос, он за кишки держится... Да чего тут разговаривать с ней!.. Пойти к старому Виару, и баста.

Жюль идет к своим деревянным башмакам.

А все таки Эрнестина что-то брешет, — думает он. — "Девять месяцев, семь месяцев"... Никто уж, кроме баб, и считать не умеет? Ого! Когда смекалка есть, так все сейчас можно увидеть. Еще как можно!

Разные мысли стали толпиться в голове Жюля. Интересные мысли. Но ухватиться было не легко, они не подчинялись. Рвались в сторону, назад пятились, — вот как кобыла Маркиза, когда иной раз запречь себя не дает, и ступает по оглоблям и копытами бьет по телеге...

Штука путанная — мысли свои собирать...

Семь месяцев, — размышляя Жюль: — Эрнестина говорит "семь месяцев"... А откуда же семь?.. И семи ведь нет... Два всего... с половиной, два месяца... Она брешет. Что то она тут брешет...

Жюль старается сосчитать. Хмурит брови, выпячивает губы, обросшие толстыми усами, бормочет, загибает пальцы... Пальцы короткие, толстые, кривые, как поздние осенние огурцы, и загибаются с трудом. Их надо придерживать согнутыми, иначе они выпрямляются, как молодая упругая ветка, если ее согнуть и не придерживать. Счет запутывается, и пальцев не хватает.

Однако, чего-ж! — решает Жюль. — В конце концов, чорт с ней, с Эрнестиной. Семь месяцев, девять, десять, — это все равно... Хоть бы и пятнадцать!

Жюль воткнул ноги в башмаки и, громко стуча по каменным плитам пола, пошел к дверям.

— Ты куда?.. Ты это куда?.. закричала Эрнестина и костлявой рукой гневно ударила по постели.

— Ты в кабак?!

— Молчи, верблюд!

— Ты смеешь итти в кабак?

— Не твое дело, верблюд!

— Ты мне чего-нибудь принеси. Мне анисовки принеси... Ты принесешь?

Проснулся новорожденный и стал издавать какие то странные, жалкие звуки: не то он кашлял, не то давился.

— Ты принесешь?

— Хо-хо-хо!

— Ты там сам нажрешься?

Жюль обернулся лицом к родильнице и не громким голосом, спокойно, не спеша, промолвил:

— Верблюд. И отчего ты не издохнешь?

Эрнестина схватила медный светильник и с размаху швырнула им в мужа. Но дверь за Жюлем уже запахнулась, светильник ударился в дверь, а потом шлепнулся на пол.

II

Могильщика Жако надули.

Его, как последнего мальчишку, надули, и он этого нисколько не скрывал. Да и то сказать: зачем же скрывать? Зачем покрывать мошенников?

Добросовестность, порядочность — это прежде всего, — рассуждал он. — А тут... Хорошо! Пусть посторонние рассудят: плату человеку назначили не помещаячно, как это всегда практиковалось, как следовало бы, — но поштучно, за каждую могилу в отдельности. А потом взяли и перестали умирать. Честно это? По совести это? Могильщику, что же жить не надо?.. А никто не умирает, и третий месяц никому не надо могил.

Жако имел необычайно широкую, сильно согнутую спину, огромный, горбатый нос, круглую, серую бороду, которую в иные воскресенья расчесывал, и ко всему этому — бас, такой же глубокий и темный, как и его могилы. Должно быть, дошел этот бас и до бога, и в неограниченной мудрости своей всеблагий рассудил, что с могильщиком уж лучше не ссориться. Итак рассудивши, исправил свою ошибку и поступил совсем уже по иному: в одну неделю в деревне скопил четырех человек. По божески поступил.

Теперь Жако заплатил в кабаке старика Виара все что был должен, а остальные из заработанного на четырех могилах пропил. После этого стал пить в долг. Пил виноградную водку и сливную, пил кислое красное вино, пил вино белое, но главным образом пил абсент.

— Абсент, — это то, что нужно, — доложил Жако Жюлю, сидевшему с ним за столиком. — Абсент, это абсент. А водки эти, ликеры, — пустое, одно рассуждение, и в них нет никакой крепости.

Анаиза Виар, дочка кабатчика Виара, сидевшая за стойкой, обиделась.

— Как "нет крепости"?! В нашей виноградной шестьдесят градусов.

Жако поднял голову, правый глаз закрыл, а левым подмигнул Анайзе.

— А в тебе самой, моя крошка, сколько в тебе градусов?

Девушка Анаиза Виар ростом была вдвое выше Жака, а лет ей было что то около сорока пяти. Со всеми парнями деревни и со всеми проезжающими она, на весьма сходных условиях, вступала в более или менее кратковременное сожительство. В последнее время, однако, она до такой степени износилась и облезла, что распродажей ее остатков, даже и по крайне пониженным ценам, уже никто не интересовался. Ласки ее встречали упорное сопротивление, и на них, как и на могилы Жако, совсем не было спроса, даже и среди стариков.

— Ах, я и забыла, — жеманно щуригла, вскрикнула Анаиза, поворачиваясь к Жюлю. — Тебя, ведь, поздравить надо, ты сделался отцом.

Жюль исподлобья посмотрел на Анайзу и икнул.

— Отцом?.. Ага... Ну да, сделался... Поздравляй... А вот видишь, стакан пустой? Пустой, — значит надо налить...

— Что ж у тебя: наследник или наследница?

— Чего?

— Мальчика родила Эрнестина, или девочку?

Жюль уставился на стакан с абсентом, подумал и сообразил, что не знает и сам.

— Мальчик или девочка — это все равно, — разъяснил Жако. — Одна цена

могилы, хоть и для мальчика, хоть и для девочки.

— Девочка, мальчик — это все равно, подтвердил Жюль, икая.

— Девочка вырастет — шлюхой будет. Сын также чорт знает чем сделается, — рассудительно гудел бас могильщика.

— Видишь ли, Жюль, — лукаво ухмыляясь, начала Анаиза, — тут вот говорили, что Эрнестина какое то чудовище родила.

Жюль поднес было стакан к усам. При последних словах Анаизы он стакан поставил обратно на стол и ничего ни говоря, устался на кабатчицу.

— Чудовище? — спросил он шопотом.

— Да, кто то говорил... не помню кто... Кто то проходил здесь и сказал. Пол лица человечье, пол лица рыло. Вроде как у свиньи рыло.

"Ну! Правда?.. Вот здорово!.. Это очень здорово, чорт возьми!.. Про таких уродов слышали уже... Даже рассказывают, с копытами рождаются, и хвостатые. Иной раз — шерсть. И шерсть и хвост"...

— А, ты это не врешь, Анаиза? — устался Жюль на кабатчицу.

— Сама я не видела, — невинно опустив глаза, ответила Анаиза, — но кто то здесь рассказывал.

Кто мог рассказывать? — спросил себя Жюль. Соседки? Ну, значит, и наггали. Соседки всегда лгут. И Анаиза лжет. Ну хорошо, это, однако, можно и проверить.

Это не то, что другое чтонибудь!.. Другое — сказать скажут, а правда ли, ложь ли, никогда и не узнаешь. Тут узнать можно. Домой пошел — и узнал. Только и всего. Тут можно.

— Где моя дочка? — задумчиво прогудел вдруг Жако. — Раньше она в Нанси с офицерами шлялась... Известно, — заразилась, в больницу легла. А Гастон тоже: как военную службу окончил, поступил на железную дорогу и седьмой год я от него писем не вижу...

— Да что писать то! — дразнит старика Анаиза.

— Э! Кабы у его отца заводы были, как у графа де-Бюржа, или ферма богатая, вот тогда бы Гастон написал, — с грустью говорил могильщик. — И приехал бы к отцу. А могильщик зачем?.. Налейка-ка, Анаиза!.. Могилу ему и там выроют.

— Могила что? Могила есть везде, — объяснил Жюль.

— Такой товар, что везде найдешь, — согласился Жако.

— Где угодно.

— Есть земля, есть и могила.

Жюль подумал и потом сказал:

— Уж если земля есть, то есть и могила.

— Земля, да заступ, — вот и готово.

— А ты что думал? Могила?.. В земле вырыл, вот она и могила.

— Уж не иначе, — прогудел Жако. — Это всегда так. Там что другое может и не так, а тут дело верное.

Жюль отхлебнул абсента.

— А то как же!.. Вот говорят: то, се... а я свое знаю, и меня не обманешь. Я без ошибки.

— Зачем ошибка? — Жако насыпал в трубку табаку и закурил. — Ошибки не надо.

— Потому, я понимаю дело! — почему то начиная раздражаться вскрикнул

Жюль. — У меня, у самого, смекалка есть!

— А что если про могилу сказать, так она есть везде.

— Могила, — она не то что... Могила... она — могила... Могила, и больше ничего!

Ну, это поймет всякий: так, вот, сразу, вопроса не исчерпаешь. Но кое что все таки было проанализировано и разъяснено довольно детально. И не мало еще света пролили бы на дело собеседники, если бы не впуталась Анаиза.

— Господа! Какой абсент по вашему лучше: шомонский или лангрский?

Жако вынул изо рта трубку и с недовольным видом посмотрел на кабатчицу.

— Лангрский. Куда ж ему? Шомонский, по моему, лучше.

— А многие говорят, что никакой разницы нет, одинаковы.

— Какая же там разница? все равно, и от лангрского пьянеешь, и от шомонского, — согласился Жюль.

— Вот только что шомонский как будто чуточку темнее, сказала Анаиза.

— Нисколько не темнее!.. Темнее? Выдумали!

Всякие свинства люди выдумывают: лангрский абсент, шомонский; темнее, светлее, — чорт знает что! Почему темнее? Ничего не разберут, а лезут.

— Никогда не может лангрский абсент против шомонского! — вскрикнул Жюль! И лицо его выразило злобную обиду. — Лангрский!.. Понимают они! Я бы им показал «лангрский»... Дураки!..

— А если темнее, то разве лучше? — спросил Жако.

— И не темнее, и не лучше! Кому другому пусть рассказывают, а со мной нечего тут!.. Я дурак, что ли? — закричал Жюль.

Глаза его сделались такими гневными и сумрачными, что Анаиза сочла необходимым успокоить оскорбленного человека.

— Боже сохрани! Кто же говорит?..

А не говорят, так пусть и не говорят... Какого чорта! Всякая сволочь будет соваться, а почему — неизвестно... Не понимают, — пусть спросят людей знающих. Объяснить всегда можно...

— Ты вот налей мне два стакана! — скомандовал Жюль: — и я тебе сейчас докажу. Я как две капли воды докажу. Я никого не испугался!

Он встал и с вызывающим видом пошел к стойке.

— Наливай два стакана!

... - Вот видишь! Вот он, лангрский твой, — говорил Жюль, когда два стакана абсента стали перед ним на цинковой доске стойки. — Вот он стоит, лангрский... А это вот шомонский. Видал? Вот шомонский, а вот лангрский... Вот и смотри...

— Ну, смотрю.

— Видишь лангрский? Видишь, какой он? Он — вон он какой. А шомонский вот смотри! Видал? Ага?.. Посмотри-ка! Ага!.. Совсем уже не то. Где же? Этот вот, он — вот!.. А тот — вон он!.. Разве не видать?.. Вот этот вот шомонский...

Жюль тыкал коротким, толстым и кривым, как поздние огурцы, пальцем то в один стакан, то в другой.

— А этот вот — лангрский. Разница?.. Ага! Потому, этот, видишь, какой он? Ты гляди! Он совсем не такой. Тот — другой, а этот — опять другой... Ты смотри, не правда ли, он — вот он! Вот, ты видал? Стало быть, он — такой, а тот уж совсем не то... Шомонский то твой. Этот — он вот, вот же он! А тот... А что?